
Б. М. Фирсов

КАК ДОБИВАЛИСЬ ПОСЛУШАНИЯ СОЦИОЛОГИИ

Я согласен с теми, кто считает, что появление социологии 60-х годов, как и ее внутреннюю противоречивость, определили три источника: «оттепель»; наличие элементов либерального мышления; обозначившийся спрос на социологическое знание в пробуждавшемся обществе.

«Оттепель» освободила общественные науки от многих сталинских догм. Какое-то время в нее верили. Но партия сумела удержать народ, страну, основные институты общества в повиновении. Спектр дозволенного, хотя и утратил монохроматизм, остался чрезвычайно узким. Потребовалась еще одна эпоха (период застоя), чтобы осознать историческую обреченность государства «развитого социализма».

Либеральное мышление тех лет посеяло зерна «протогласности» и обозначило — пусть штрих-пунктирной линией — контуры социальных перемен, породило структуры новой ментальности, ориентированные на изменение общества, отказ от догм, поиски истинного знания, постановку реальных проблем. Проклюнувшийся плюрализм был робким, благонамеренным, строго следующим командам партийно-государственного светофора. Но все же носители либерального мышления выполнили свою миссию. Ссылаясь на социологические штудии 60-х годов, скажу о том, что сам факт интервьюирования или анкетного опроса, оглашения социологических данных знаменовал прямую коммуникацию, равноправный диалог с населением, обращение к рядовым людям за их мнением о самых разных сторонах жизни. Контакты социологии с населением ликвидировали монополию власти на право знать и определять по своему усмотрению потребности и интересы жителей страны.

Реакция со стороны партии на этот прорыв была неоднозначной. Социология, зарегистрированная под псевдонимом «конкретные социологические исследования», получила право на жизнь в качестве одного из помощников партии. Поскольку профессиональные социологи не огорчали ЦК КПСС диссидентскими выходками, им было разрешено собраться под крышей ИКСИ АН СССР. Но едва партийно-государственный корабль взял курс на стагнацию, как был немедленно усилен контроль за программами и результатами социологических исследований. При этом власть совершила крупный просчет: боясь ослабить господство идеологии, она отказалась от возможности знать о фактическом состоянии дел в стране. Когда возник едва ли не панический страх перед возможностью наступления «пражской весны» в советских краях, помощника партии стали воспринимать как потенциального оппонента в силу генетической склонности к разномыслию.

Здесь мы подходим к ответу на вопрос о том, возможен ли процесс порождения социологического знания при тоталитарном режиме или полноценная социология по своей природе связана с демократическим устройством общества? Следует отличать отношение власти к науке от процессов внутри науки. Социология в СССР в 60-е годы возникла из потребности общественной жизни. Появление первых социологических коллективов в Москве, Ленинграде, Новосибирске, первых исследователей-одиночек — спонтанный результат рефлексирования коллективным и индивидуальным научным сознанием сдвигов в социуме. Это — реакция на изменения социальных условий и новые социальные вызовы. Последовавший затем этап самоорганизации социологов страны на базе Советской социологической ассоциации (которая существовала с конца 50-х годов) был естественным завершением спонтанного возникновения точек роста социологической науки. Институционализация науки (в данном случае ее псевдоним не имеет значения) имела место в 1968 году.

Социология 60-х годов по своему духу была демократической. Большинство социологических публикаций тех лет содержало серьезное социально-критическое начало. Парадоксально, но для этого не требовалось усиленно демонстрировать инакомыслие. Страна начала жить по новым правилам, все больше становилось людей, пытавшихся понять свое место в обществе, равно как и само общество. Социология предлагала новый язык в подходе к социальным явлениям, она обозначала проблемы вопреки официальной доктрине «беспроблемности» развития и уже этим обеспечивала себе широкую аудиторию, готовую к тому, чтобы ее просвещали.

Вместе с тем социология не была оппозиционной наукой и активно соучаствовала в строительстве зрелого социализма, попав в плен нормативного знания. Полученное, казалось бы, строгими научными методами (сразу отбросим имевшие место попытки прямых политических спекуляций) это рациональное в своей основе знание во многих случаях быстро утрачивало свою обоснованность. Оно разрушалось и превращалось в социальную иллюзию всякий раз, когда социологи пытались предлагать выводы, опираясь на императивы должного. Не сразу и не тогда, 30 лет назад, а только недавно стал понятен вред этой благонамеренности, пронизанной мечтами о близком и счастливом будущем. С большей или меньшей старательностью мечтаниям предавались едва ли не все обществоведы. Пишу об этом не ради запоздалого покаяния. Не хочу оказаться в толпе, неистово топчущей ногами прошлое.

Соблазнение будущим — важнейшая черта советского периода нашего государства. И я не вижу принципиальной разницы между известным историческим посулом Н. С. Хрущева, согласно которому поколения людей, здравствовавших в 60-е годы, должны войти в ворота коммунистического парадиза, и послеоктябрьскими программами и декретами большевиков. Судьбе было угодно, чтобы я находился в зале в минуты произнесения Н. С. Хрущевым многообещающих слов. Не ошибусь, если скажу, что делегаты и гости съезда отнеслись к этим словам с энтузиазмом, который быстро стал доминантой умонастроений в стране, он был поддержан политической, культурной и научной элитой. Другое дело, когда и у кого начали исчезать оптимизм и вера, уступая место трезвому, реалистическому взгляду на судьбы страны и народа. Если ослепление будущим было в значительной мере массовым, коллективным, то прозрение — индивидуальным.

Беру с полки книгу, написанную мною в 1977 году. Читаю: «Социализм приближает время, когда общество обретет способность реализовать потребности людей, по верному замечанию К. Маркса, “во всей полноте человеческих проявлений жизни”». И далее: «Подтверждением сказанного являются социальные задачи современного советского общества. Резко ускорить темпы производительности труда; увеличить масштабы и сократить время внедрения научных достижений во все сферы общественного производства; обеспечить расширенные и одинаковые возможности для получения образования и для доступа к достижениям культуры всем слоям населения; выравнять стандарты городского и сельского быта; ускорить процесс преодоления различий между физическим и умственным трудом; устранить

противоположность между рабочим и свободным временем, между трудом и потреблением, объединив их как различные сферы жизнедеятельности человека и развития его способностей — вот лишь некоторые из целей развития, — писал автор, — воплощение которых стало возможным лишь на определенной, достаточно высокой стадии прогресса»*. Не стану повторять все имена моих учителей — ученых, возродивших социологию на пепелище сталинской эпохи. Скажу лишь, что и их имена в те годы можно было найти среди убежденных толкователей Коммунистического манифеста и Программы КПСС.

Итак, при активном содействии общественных наук в массовое сознание вносилась искаженная и неполная картина мира и человека. Она обладала свойствами транквилизатора. Было бы неправдой говорить сейчас, что она была лишена привлекательности. Хотя надежды на лучшее будущее, ставшие лейтмотивом многих социологических исследований, как правило, не сбывались. Более того, по прошествии сравнительно короткого времени они начинали расходиться с реальностью. Общество как бы догадывалось, что к нему пытаются приложить искусственные модели, и потому, чувствуя коварство социального исследователя, начинало уходить в другую, часто непредсказуемую сторону, пыталось избежать навязываемых обстоятельств. В истории, отмечал петербургский писатель Я. Гордин, существует явление, которое можно назвать «инстинктом сохранения больших общностей». В его основе лежит врожденная способность сопротивляться любым попыткам заставить социум двигаться неестественным путем. Именно здесь следует искать причину того, что многие разделы социологического знания оказались несостоятельными. Это знание попало под влияние им же порожденных социальных иллюзий.

Не умаляя ни на йоту действительных заслуг и достижений социологии 60-х годов, я бы рискнул назвать два ее неотмоленных исторических греха. Первый — ослепление образом государства. Гипноз и слабование обществоведческой мысли, включая социологическую, под влиянием государства, чьи иллюзорные добродетели и фальшивое человеколюбие служили щитом для маскировки абсолютной и жестокой власти, является фактом недавнего прошлого. Идеология подавила в значительной мере независимость научного мышления. Оно не избегло опасностей мифологизации, когда поддерживало веру

* Фирсов Б. М. Пути развития средств массовой коммуникации. Л.: Наука, 1977. С. 34.

в нерушимое единство партии и народа, в монолитность семьи народов, населявших страну. Грех второй — примирение с социальным порядком. Большинство профессиональных социологов не опускалось до уровня примитивной идеологической манипуляции массовым сознанием, но компромисс с властью не оставался без последствий. Социология оказалась втянутой в процесс утверждения униформизма общественной жизни и удержания людей в границах повиновения, в страхе перед капитализмом. В целом исследовательская парадигма была ориентирована скорее на стабильность, чем на изменения, отдавала предпочтение монизму в сравнении с плюрализмом, тогда как по смыслу требовалось изымать человека из полей коллективного опыта, помогать ему осознать собственное своеобразие и неповторимость в толпах предшественников и современников. Попытки вырвать человека из плена социального времени и пространства, объяснить смысл индивидуального существования стали отличительной чертой социологии сегодня. Перечисленные выше дисфункции социологического знания имели место вопреки намерениям большинства социологов.

Это о грехах. Однако едва власть усвоила, что социологическая наука может заявить себя и серьезным оппонентом, как вступили в действие механизмы контроля и регулирования профессиональной деятельности. Поскольку стремление удерживать народ в повиновении было едва ли не безграничным, его следовало распространить на все слои и группы. Достаточно вспомнить исторические встречи руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, чтобы понять определенный универсализм контроля за любым видом творческой деятельности. Свобода творческого воображения первой вступала в конфликт с аппаратно-бюрократическим антиинтеллектуализмом, и ее ограничению всегда уделялось особое внимание. Превентивные меры, обеспечивавшие послушание интеллектуалов, сейчас могут показаться реликтовыми, но их следует напомнить тем, кто начал свою жизнь в науке, не зная запретов на свободу выражения мысли.

Самым мощным был механизм искажения и разрушения позитивного знания. Он опирался на государственную цензуру. Здесь заслуживают упоминания «Перечни сведений, запрещенных для публикации в открытой печати». Главным их назначением в период стагнации стала не столько охрана государственных тайн, сколько сознательная деятельность по сокрытию от населения страны, от мировой общественности реальных противоречий развития советской системы; растущей озабоченности людей ухудшающимся положени-

ем страны; кризисных явлений в различных сферах; падения авторитета власти, лидеров партии и государства. В несколько приемов была закрыта значительная часть социальной статистики. Быстро стало расти число табуированных проблем (преступность, здоровье нации, проявления национальной розни и др.). Данные о половозрастной структуре (по итогам Всесоюзных переписей) были закрыты под предлогом того, что их публикация могла облегчить потенциальному противнику подсчеты численности вооруженных сил и мобилизационных ресурсов в случае агрессии. Строжайший запрет существовал на публикацию любых сведений, в первую очередь социологических, оценивающих деятельность высшего звена руководителей страны. В итоге на страницах научных и массовых изданий реальность оказывалась представленной в тщательно отредактированном, стерилизованном виде. Торжествовала не истина, а государственная ложь.

Говоря о цензуре, нельзя забыть об ограничениях доступа к зарубежной научной литературе. Легендарные спецхраны, особые штампы для маркировки поступавшей по почте научной печатной продукции — все это помнится. В Ленинграде одно время существовал «кооператив», основанный И. С. Коном и В. А. Ядовым, к участию в котором пригласили и меня. Мы на собственные средства покупали и отправляли в США по три экземпляра отечественных книг по социологии и смежным дисциплинам. В обмен получали согласованное количество американских книг по интересовавшей каждого проблематике. На такой обмен следовало получить одобрение Ленгорлита. Для этого мы составили письменные заявления, согласно которым при поступлении литературы «ограниченного пользования» цензор получал от нас разрешение (?) пересылать книги в спецхран библиотеки АН СССР. Собственно, правила отнесения книг и журналов в этот разряд или к числу запрещенных для чтения кем-либо, кроме цензоров, держались в глубокой тайне. О них можно было догадываться. Скажем, достаточно было одной ссылки на А. Солженицына или на других «врагов», как книга уходила в спецхран. Абсурдность этих правил понимали сотрудники БАН. В легких случаях они разрешали изъять несколько опасных страниц и унести книгу домой. В начале 70-х годов мне пришла очень ценная книга. В моем присутствии с помощью лезвия безопасной бритвы (ножниц в спецхране не нашлось) сотрудница вырезала статью о массовой коммуникации в Китае с критикой доктрины коммунистической пропаганды. Такова была цена за возможность пользоваться остальными материалами

в нерушимое единство партии и народа, в монолитность семьи народов, населявших страну. Грех второй — примирение с социальным порядком. Большинство профессиональных социологов не опускалось до уровня примитивной идеологической манипуляции массовым сознанием, но компромисс с властью не оставался без последствий. Социология оказалась втянутой в процесс утверждения униформизма общественной жизни и удержания людей в границах повиновения, в страхе перед капитализмом. В целом исследовательская парадигма была ориентирована скорее на стабильность, чем на изменения, отдавала предпочтение монизму в сравнении с плюрализмом, тогда как по смыслу требовалось изымать человека из полей коллективного опыта, помогать ему осознавать собственное своеобразие и неповторимость в толпах предшественников и современников. Попытки вырвать человека из плена социального времени и пространства, объяснить смысл индивидуального существования стали отличительной чертой социологии сегодня. Перечисленные выше дисфункции социологического знания имели место вопреки намерениям большинства социологов.

Это о грехах. Однако едва власть усвоила, что социологическая наука может заявить себя и серьезным оппонентом, как вступили в действие механизмы контроля и регулирования профессиональной деятельности. Поскольку стремление удерживать народ в повиновении было едва ли не безграничным, его следовало распространить на все слои и группы. Достаточно вспомнить исторические встречи руководителей партии и правительства с деятелями литературы и искусства, чтобы понять определенный универсализм контроля за любым видом творческой деятельности. Свобода творческого воображения первой вступала в конфликт с аппаратно-бюрократическим антиинтеллектуализмом, и ее ограничению всегда уделялось особое внимание. Превентивные меры, обеспечивавшие послушание интеллектуалов, сейчас могут показаться реликтовыми, но их следует напомнить тем, кто начал свою жизнь в науке, не зная запретов на свободу выражения мысли.

Самым мощным был механизм искажения и разрушения позитивного знания. Он опирался на государственную цензуру. Здесь заслуживают упоминания «Перечни сведений, запрещенных для публикации в открытой печати». Главным их назначением в период стагнации стала не столько охрана государственных тайн, сколько сознательная деятельность по сокрытию от населения страны, от мировой общественности реальных противоречий развития советской системы; растущей озабоченности людей ухудшающимся положени-